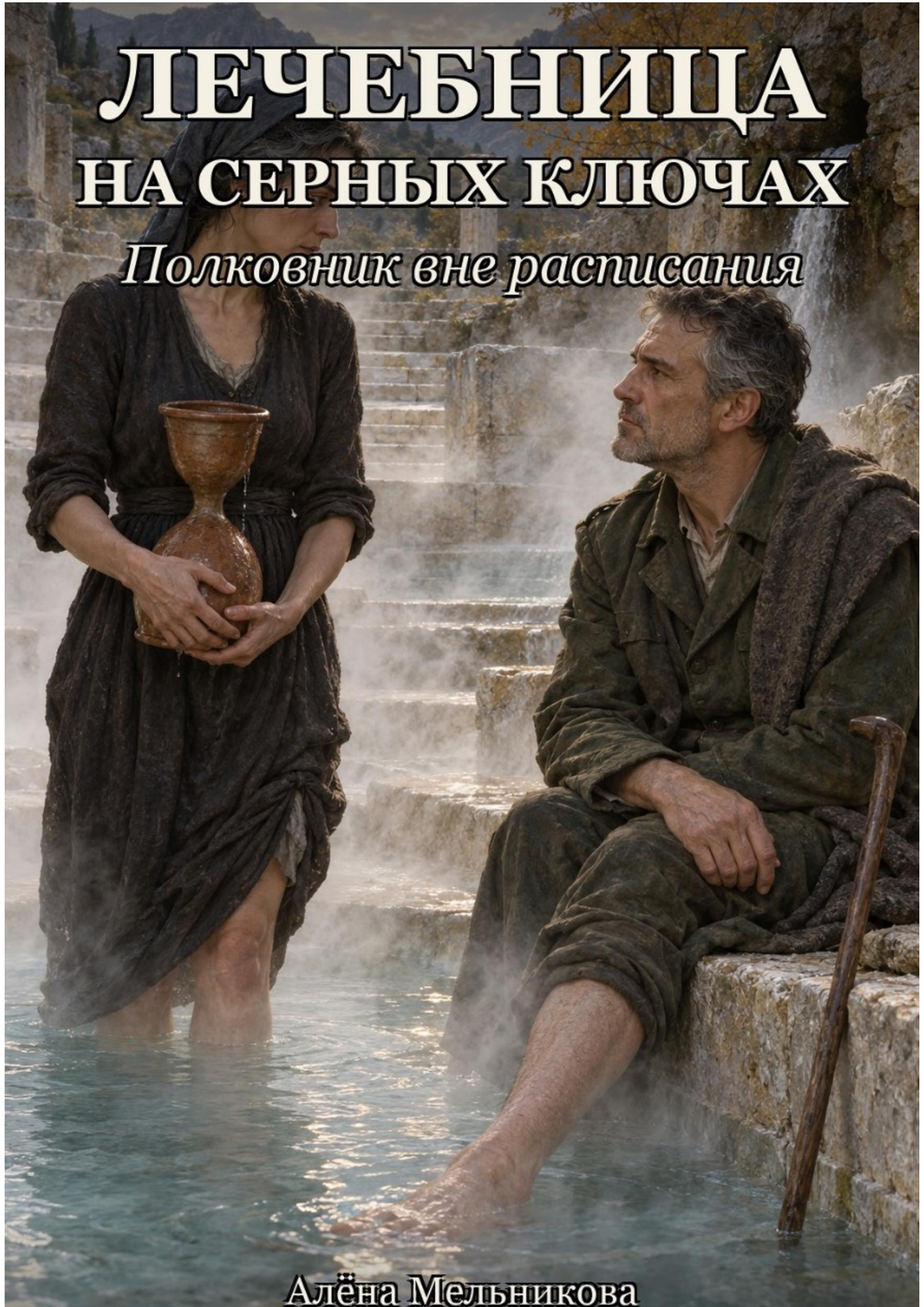


ЛЕЧЕБНИЦА НА СЕРНЫХ КЛЮЧАХ

Полковник вне расписания



Алёна Мельникова

Алена Мельникова

**Лечебница на Серных Ключах.
Полковник вне расписания**

«Автор»

2026

Мельникова А.

Лечебница на Серных Ключах. Полковник вне расписания /
А. Мельникова — «Автор», 2026

Я уснула за столом в ординаторской, а очнулась в горячем серном ключе — в чужом теле. Агата Ровенн, вдова лекаря: родня мужа отсудила у неё всё и оставила по бумаге «пустошь Серные Ключи» — лужу в предгорьях и развалины купальни. Владеть, доколе во вдовстве и здравом уме. Деверь ждёт, что я продам пустошь или попаду под опеку. А я двадцать лет заведовала отделением реабилитации и знаю, что делают с такой водой. Здесь будет лечебница: тринадцать коек, режим и никаких «не могу». За ручьём живёт списанный полковник, который год не разгибает колено и велел разобрать мост. Он станет моим самым трудным пациентом — в семь утра, по расписанию. И вне его. 16+. Однотомник, закрытый финал.

© Мельникова А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	10
Глава 3	15
Глава 4	19
Глава 5	23
Глава 6	27
Глава 7	31
Глава 8	36
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Алена Мельникова

Лечебница на Серных Ключах.

Полковник вне расписания

Глава 1

Горячая вода пахла тухлым яйцом так густо, что я закашлялась раньше, чем открыла глаза, и первая связная мысль, которая пришла в голову сквозь кашель, была не «где я» и не «что случилось», а совершенно рабочая: сероводород, крепкий, градусов сорок с лишним, и кто-то оставил человека в такой ванне без присмотра, за что у нас в отделении писали объяснительную, а в особо удачных случаях лишали премии.

Потом я поняла, что человек — это я.

Я лежала в воде по горло, головой на чём-то твёрдом, и вода шевелилась вокруг, как шевелится горячая вода, когда её много и она идёт откуда-то снизу. Сверху было небо, серое и низкое, и мокрая ветка с мелкими листьями, и край скалы наискосок. Сзади, слева, в затылке сидела боль — тупая, одной точкой, как будто туда вбили гвоздь и забыли вынуть.

Я села. Не потому что так было правильно, а потому что в воде, которая обжигает, никто не лежит и не рассуждает, — тело выдернуло меня само, как выдёргивает руку с плиты, и я оказалась на четвереньках на скользком камне, по локти в воде, и смотрела на свои руки.

Руки были не мои.

Длинные, с крупными костяшками, с коротко стриженными ногтями, в чёрном мокром рукаве, который доходил до самого запястья и застёгивался на три мелкие пуговицы. У меня никогда не было таких рук. У меня были короткие сильные руки медсестры, которая выросла в заведующую, с обручальным кольцом, снятым пятнадцать лет назад, и с привычкой держать их на весу, когда они мокрые. Эти руки были чужие, и на левой, на безымянном, сидело тонкое тёмное кольцо, и я смотрела на него, пока вода стекала с рукава, и думала, что сейчас, наверное, положено закричать.

Я не закричала. Я вылезла.

Это заняло время, потому что на мне было платье — чёрное, до пят, тяжёлое, с бесконечными пуговицами спереди, и оно набрало воды и весило, как второй человек, и тянуло назад, в яму. Я выбралась на камень на коленях, потом поднялась, держась за ветку, и ветка оказалась черёмухой, отцветшей, с горькими зелёными ягодами. В городе, из которого я вечером не вышла домой, черёмуха отцвела три недели назад. В городе был июнь, эпидемия, половина отделения на больничном, и я уснула за столом в ординаторской, положив голову на журнал назначений, после того как Галя из процедурной сказала: «Тамара Ильинична, идите домой», — а я сказала: «Сейчас».

В кармане платья что-то было. Я вытащила: бумага, сложенная вчетверо, мокрая, но плотная, казённая, с расплывшимися по краям чернилами. Сверху, крупно, с завитком: *Вдове лекаря Конрада Ровенна, госпоже Агате Ровенн, в собственные руки.*

Я прочла это дважды, стоя в мокром платье над парящей ямой, и голос, которым я прочла это вслух, тоже был не мой — ниже, суше, с хрипом, как после долгого крика.

* * *

Вниз я спускалась долго, потому что голова на каждый шаг отзывалась гвоздём, а в глазах темнело с краёв, и дважды я садилась на камни и ждала, пока просветлеет. Сотрясение —

наверное; что ещё — я не знала и не могла узнать, у меня не было ни рук, которые меня бы осмотрели, ни головы, которой я бы доверяла.

Склон под ямой уступами шёл к ручью. Ниже ямы стояли стены без крыши, высокие, из тёсаного камня, с проёмами окон и кустами, которые росли прямо из кладки, и между стенами стоял пар. Слово «купальня» пришло само, будто кто-то подписал эту вещь до меня и оставил табличку. Ещё ниже, у ручья, дымила труба низкого каменного домика, и возле домика стояла телега с выпряженной лошастью, и женщина в двух платках, одном поверх другого, держала в руках чугунок и смотрела, как я иду.

— Явилась, — сказала она.

Голос у неё был низкий и недовольный, лицо — красное от ветра, широкое, лет шестидесяти; чугунок она аккуратно поставила на телегу — он ещё пригодится — и пошла ко мне.

— Вы ж сказали — посмотрю воду и назад. Вас час нет. Я по нижней тропе ходила, кричала — вас нет. — Она взяла меня за плечи, крепко, повернула к свету. — Мокрая. Вся мокрая. Госпожа, вы куда полезли?

— Я упала.

— В воду?

— В воду.

Она смотрела, и во взгляде было что-то, чего я не могла назвать и что мне не понравилось: она не жалела и не пугалась, она сверяла, и у неё не сходилось.

— Голову, — сказала она и потрогала затылок. Сзади, слева, ровно туда, где сидел гвоздь.

Я сказала ей то, что говорю студентам, когда они трогают больное место, не предупредив. Коротко и ясно, с фамилией — только фамилия вышла моя, Белова, и повисла в воздухе чужим словом. Женщина убрала руку и отступила на шаг.

— Ясно, — сказала она после паузы. — Конрад бы сказал — лежать. Пойдёмте.

Имя она произнесла так просто, что я не сразу поняла: Конрад — это тот, чьей вдове адресована бумага у меня в кармане.

* * *

В домике было тепло и темно, и у печи — настоящей, с устьем и заслонкой, с жаром, который шёл в лицо, когда её открывали, — сидел старик и грел руки.

Руки я увидела раньше, чем его самого. Я так устроена: сначала руки, спины, походка, потом лица, и это не выключается ни усталостью, ни чужим телом. Пальцы у него были согнуты — все, на обеих кистях, полусжатые, застыли так, будто он держал что-то тяжёлое и не разжал. Кисти широкие, тёмные, кожа толстая. Что это — суставы, сухожилия, старые переломы, — я не знала. Я бы спросила, давно ли, болят ли, немеют ли, и попросила бы пошевелить, а потом попробовала бы сама. Завтра. Сегодня я была мокрая и чужая и с гвоздём в голове, и трогать руки незнакомого старика в первый вечер в незнакомом доме не стала бы даже я.

— Ансель, — сказала женщина, — подвинься. Госпожа упала в ключ.

Старик подвинулся — медленно, держась за лавку. Посмотрел на меня снизу, из-под седых бровей, светлыми глазами в красных жилах.

— В верхний? — спросил он.

— В который-то. В горячий. Голову расшибла. Снимайте с неё это. Ансель, отвернись.

Платье с меня снимали вдвоём: она снимала, я мешала, потому что пальцы были длинные, чужие и не попадали в петли. Под платьем оказалось ещё что-то, потом ещё, а когда остались рубаха и тело, я посмотрела вниз и увидела его целиком. Худое. Длинное. Рёбра, ключицы, руки до локтя тонкие, как у девчонки, только кожа не девчоночья. Я сорок четыре года прожила в теле, у которого было всё, что положено женщине, которая двадцать лет ест на ходу,

— и теперь стояла у чужой печи в чужих костях и сжимала кулак, чтобы проверить, сожмётся ли. Сжался.

Женщина накинула на меня одеяло, колючее, пахнущее дымом и овцой, усадила к печи рядом со стариком и сунула в руки кружку.

— Пейте.

Глиняная, с отбитым краем, горячая. Внутри — травяное, горькое.

— Что это?

— Как что. Отвар. Вы ж сами утром велели заварить, от головы.

Я выпила. Два глотка, пока думала о другом, — и только на третьем сообразила, что делаю: пью неизвестно что из чужой кружки после удара затылком о камень, не зная ни состава, ни дозы, ни кто заваривал. Горечь была похожа на кору, может быть, на иву, а может, на десять других вещей, которые я на вкус не отличу, потому что двадцать лет назначала таблетки, а не отвары. Умница, Тамара Ильинична. Первый пациент в новом месте — сама, и уже нарушила всё, за что ругала других.

Я поставила кружку.

— Сколько в ключе градусов? — спросила я.

Это вышло само. Я собиралась спросить, где я, какой день и как зовут эту женщину, а спросила про воду, потому что про воду я думала всю дорогу вниз: слишком горячая для ванны, если судить по коже, а по коже судить нельзя, нужен градусник, а градусника нет и, судя по печи, не будет.

Женщина молчала. Старик пошевелил руками у огня.

— Горячая, — сказал он. — Отец говорил — рука не терпит.

Отец. Значит, он знает про эту воду что-то давнее. Это я тоже отложила на завтра.

— Госпожа, — сказала женщина, и голос у неё изменился, стал осторожным, и осторожность эта была не за себя. — А вы помните, как вас зовут?

Бумага лежала в кармане мокрого платья, которое она повесила у печи. Она могла её прочесть, а могла и не читать — она приехала сюда вместе со мной, на этой телеге, с этим чугуном, и знала, кого везёт.

— Агата, — сказала я. — Агата Ровенн. Вдова лекаря Конрада Ровенна.

Она выдохнула.

— А меня?

Я молчала. У нас в отделении лежали люди после инсультов, которые не помнили имён жён, и я знала, как с ними разговаривают: спокойно, называя имя первой, не превращая вопрос в экзамен. Я ждала, что она так и сделает. Она не сделала. Она стояла и ждала, и в её ожидании было больше страха, чем во мне.

— Я сильно ударилась, — сказала я. — Вот сюда, вы сами трогали. После удара бывает, что память отшибает — на часы, на дни. Что со мной сейчас, я сама не понимаю. Побудьте рядом.

— А если не вернётся?

— Тогда вы скажете мне, как вас зовут, и мы будем жить дальше.

Она смотрела долго. Потом повесила платье ровнее, пуговица к пуговице, и сказала, не оборачиваясь:

— Фрида. При Конраде восемнадцать лет. Вас пять лет кормила. Хватит?

— Фрида, — повторила я. — Спасибо.

Она обернулась, и брови у неё поднялись, будто я сказала что-то неприличное. Может, и сказала. Может, Агата не благодарила прислугу. Я ничего не знала про Агату, кроме того, что она была вдова, носила чёрное и зачем-то полезла одна к горячему ключу.

* * *

Стемнело быстро. Фрида зажгла одну свечу, сварила в чугушке кашу, и мы ели её втроем из одной посуды деревянными ложками. Старик держал ложку всей кистью, как черенок лопаты, и ел медленно, и я смотрела на это и заставляла себя не считать, сколько у него осталось движения в каждом суставе, потому что считать, не потрогав, — это не медицина, а гадание.

— Ансель, — сказала я. — А при вашем отце купальня работала?

Он дожевал.

— Работала. Ванны были. Каменные, шесть. Вода шла сверху, из ключа, по желобам, — он показал ложкой, как шла вода, — горячая в одну, похолоднее в другую. Господа лежали. Отец воду пускал и запирали. Банщик он был.

— А потом?

— Потом храм сказал — вода дурная. Дыханье земли. Закрыли.

Фрида вытерла руки о тряпицу, которая висела у неё на поясе, — обе, медленно, хотя руки были сухие. Я запомнила этот жест. В таких местах надо запоминать всё.

— Это сера, — сказала я. — Из земли. Она так и должна пахнуть.

— Отец так говорил, — сказал Ансель.

— Госпожа, — сказала Фрида, — ложитесь.

— Фрида. — Я встала, и пол качнулся, и я подождала, пока он встанет на место. — Если ночью меня будет рвать, или вы не сможете меня добудиться, или я начну говорить совсем не то — не ждите утра. Будите Ансея, запрягайте, везите к лекарю. Я серьёзно.

Она посмотрела на меня, как на мокрое платье.

— Я при Конраде восемнадцать лет, госпожа. Что бывает после головы, я знаю. — Пауза. — Лягу у двери.

* * *

Ложу мне устроили на лавке у печи: тюфяк, одеяло, под голову что-то свёрнутое, пахнущее лавандой и чужим домом. Я лежала на спине, гвоздь в голове стал тише, тепло шло ровно, и я думала о том, что где-то, за три недели и за целую жизнь отсюда, в ординаторской горит лампа, которую я не выключила, и что в воскресенье звонил сын, а я не взяла, потому что был обход, и собиралась перезвонить вечером, и вот он, вечер.

Фрида стояла надо мной с моим платьем в руках. Она вынула из кармана бумагу, расправила и положила на край печи сушиться — аккуратно, чтобы не подпалить.

— Голову вы сильно расшибли, госпожа, — сказала она тихо, потому что Ансель уже спал, сидя, уронив руки на колени. — Конрад бы сказал — неделю лежать. А вы, как сели, спросили, сколько в ключе градусов.

Я молчала.

— Агата бы так не спросила. Она бы сказала «горячо» и ушла. Градусы — это Конрад так говорил, про воду, про кровь, про всё. — Фрида помолчала. — Вы говорите, как он. И смотрите на руки Ансея, как он смотрел. Я при нём восемнадцать лет, я знаю, как он смотрел.

Свеча горела ровно.

— Агата воды боялась. С детства, не умела плавать, в лохань садилась, когда я держала за руку. Она бы к ключу близко не подошла. Посмотрела бы с тропы, сказала бы «воняет» — и назад. — Фрида посмотрела на бумагу на печи, потом на меня. — А вы в него легли.

Я могла сказать «после удара». Могла сказать «не помню». Могла сказать правду, которой не поверила бы сама.

— Фрида, — сказала я. — Я не знаю, что со мной.

Это было честно. Больше у меня не было.

Она кивнула. Потом тронула пальцем бумагу на печи, проверяя, высохла ли.

— Вы её читали?

— Не успела.

— Прочтите утром. Там, после дома и пустоши, одна строчка, Лотар её сам в суде просил вписать. «Доколе пребывает во вдовстве и здоровом уме». — Она сказала это тем же голосом, каким утром спрашивала, сколько брать муки. — Если вы завтра при деревне спросите, как меня зовут, госпожа, — к осени у этой пустоши будет другой хозяин. И это буду не я.

Она задула свечу.

Глава 2

Бумагу я прочла утром, у окна, пока Фрида резала хлеб и делала вид, что не смотрит.

Она высохла и стала жёсткой, как картон; чернила поплыли по краям, но середина читалась. *...по решению уездного суда дом на Липовой улице со всем, что в нём, отходит в счёт долга Лотару Ровенну, стряпчему. Вдове же, Агате Ровенн, — пустошь Серные Ключи в предгорьях, сорок десятин, с водами, строениями и сторожской, купленная покойным за три кроны, — в пожизненное владение, доколе она пребывает во вдовстве и здоровом уме; в ином же случае пустошь со всем, что на ней, отходит в полную собственность Лотару Ровенну. А также сундук с вещами покойного и носильное платье. Выписку дал нотариус Кальва...* — подпись, печать, дата, которую я не разобрала.

Я перечитала строчку про здоровый ум три раза, и с каждым разом она нравилась мне меньше. Стряпчий Лотар, который забрал дом за долги и попросил суд вписать условие о рас суде вдовы, — такой человек не вписывает условий просто так. Я его не видела ни разу и уже знала о нём главное: он думает на два хода вперёд и думает о том, как у вдовы отнять то небольшое, что ей оставили.

— Фрида. Кто такой Лотар?

Она не перестала резать.

— Брат Конрада. Старший. Стряпчий в столице. — Пауза. — Госпожа, он вас на похоронах под руку держал.

— Я ударилась головой. Расскажите, как будто я не помню. Коротко.

Она положила нож.

— Дом на Липовой был Конрадов, от отца. Лотар после похорон принёс бумаги — Конрад ему должен, за учение, за инструменты, за то, за сё, двадцать лет, оказывается, должен был. Суд был быстрый. Дом Лотару. Вам — вот это, — она повела рукой на окно, на стены, на пар за стеклом, — что Конрад за три кроны купил, когда, как Лотар говорил, валял дурака. И сундук. И что на вас надето. Лотар сказал — по-родственному.

— Я согласилась?

— А кто вас спрашивал.

Она сказала это без злости, как говорила, по-моему, обо всём, что уже случилось.

— А вы, Фрида? Почему вы здесь, а не на Липовой?

— Потому что Лотар мне предложил остаться. При доме. — Она снова взяла нож. — Я у Конрада восемнадцать лет больных держала и банки ставила, и склянки его знала лучше, чем он сам. Он меня из долговой ямы вынул, когда мне было сорок, за восемь крон, и ни разу не напомнил. Лотар мне в первый же вечер сказал, что «понимает, какая это для меня потеря». — Она отрезала ломоть. — Я собрала склянки, какие успела, пока он мебель описывал, и поехала с вами. Вот и всё.

Я посмотрела на неё — на широкую спину, на две шали, на руки, которые резали хлеб ровными, одинаковыми ломтями, — и подумала, что завишу от этой женщины больше, чем мне хотелось бы, и что она это знает.

* * *

Сундук стоял у стены, обитый тёмной кожей, с медными уголками, и ключ от него висел у меня на шее на шнурке, — я нашла его, когда одевалась, и не поняла, от чего он, а теперь поняла.

— Вы его с похорон не открывали, — сказала Фрида. — Инструменты там. Его.

— Открою.

Замок поддался с третьего раза. Сверху лежал мужской сюртук, тёмно-серый, аккуратно сложенный; от него пахло табаком и чем-то аптечным, и я, прежде чем положить его на лавку, проверила карманы — не из любопытства, а потому что в кармане у человека, который ходит по больным, всегда что-то есть. Были: платок, огрызок карандаша и часы. Серебряные, с крышкой, со стеклом, треснувшим наискосок. Шли. Я приложила их к уху и слушала дольше, чем нужно.

— Вперёд идут, — сказала Фрида от стола. — На пять минут. Он так заводил, чтобы не опаздывать. Я не трогала.

Я не стала переводить. Мне нужна была не точность — мне нужно было, чтобы пятнадцать минут были пятнадцатью каждый раз, а для этого всё равно, какие.

Под сюртуком лежали три книги в коже, под книгами — ящик, а в ящике были инструменты, и я узнала их раньше, чем взяла в руки, потому что инструменты в любом веке похожи на себя. Ланцеты в кожаном гнезде, пять, лезвия потемнели, но острые. Банки стеклянные, десять, с гладким краем. Щипцы, крючок, костяные шпатели шириной в ладонь. Медные весы с гирьками, крошечные, аптекарские, в коробке с бархатом. Деревянная трубка с раструбом, которую я повертела и поняла: слушать грудь.

Я сидела на полу перед ящиком с деревянным стетоскопом в руках и думала не о том, что из этого мне пригодится, — ланцеты и банки оставим Конраду, они из его века, не из моего, — а о том, что весы здесь, и шпатели здесь, и часы идут, и что человек, который собрал этот ящик, был врачом, и его вдова теперь — я. С этим надо было что-то делать, а что — я пока не понимала.

Под ящиком, в коробке, в тряпице — монеты. Я высыпала их на лавку и пересчитала при Фриде, потому что деньги — это такая вещь, которую считают при свидетелях. Тридцать шесть крон. Фрида кивнула, не удивившись: она знала.

А под коробкой лежала тонкая тетрадь в синей бумажной обложке, и почерк в ней был мелкий, ровный, с наклоном влево. Не Конрадов — женский.

Расходы. *Свечи, фунт — 12 гр. Мука, мешок — 1 кр. 20 гр. Прачке за неделю — 30 гр. Шерсть на чулки К. — 45 гр.* Страница за страницей, цены, которых я не знала и которые теперь знала, — и между цифрами, редко, строчки не про деньги.

К. опять до ночи в Низах. Сказал — купальня будет.

И через двадцать страниц, другими чернилами, бледнее:

К. умер. Лотар взял дом.

Дальше снова расходы, только почерк стал хуже. Ни слёз, ни молитв: четыре слова, без точки между первым и вторым событием, как будто одно вытекало из другого. Я закрыла тетрадь. Агата. Боялась воды, считала гроши, писала с наклоном влево, и о смерти мужа написала как в журнале дежурств: время, факт, подпись.

— Это когда она писала? — спросила я. — Если сундук не открывали.

— Тетрадь она при себе держала. В сундук я положила, когда грузили. Чтоб не потерялась. — Фрида помолчала. — Конрад её не читал. Никогда. Говорил — это её, пусть.

Я положила тетрадь назад, под коробку. Конрад не читал. Я прочла за десять минут всё, что он за пять лет не позволил себе прочесть, и мне было от этого неловко, как бывает неловко в чужой палате, когда родственники вышли и ты остался с тумбочкой.

* * *

Снаружи было ветрено, светло и воняло, и я пошла проверять одну вещь, потому что на большее у меня не было ни сил, ни права: дойдёт ли вода от ямы до ближайшей ванны.

Всё остальное — что там дальше, сколько ванн, какая грязь внизу, — могло подождать. Если вода не дойдёт, остальное не имеет значения; если дойдёт — я буду знать, с чего начинать.

Ансель пошёл со мной. Не потому что я просила, — он встал, когда я вышла, и пошёл следом, и я не стала отсылать. Он знал это место руками, я это поняла, когда он остановился у ямы и показал — не пальцем, пальцы не показывали, а всей кистью, как показывают направление лопатой:

— Тут. Под камнями. Труба была. Отец чистил.

Мы разобрали камни. Ансель — медленно, кистями, как клешнями; я — руками, которые к концу покрылись зелёной слизью и порезались о край в двух местах, после чего я взяла палку и велела себе промыть порезы, как только дойду до чистой воды. Под камнями была труба: каменная, выдолбленная в цельном куске, с ровным дном и уклоном, который кто-то считал, и считал хорошо, — и забитая илом так плотно, что вода в неё не шла, а переливалась через край ямы и уходила в траву.

Я ковыряла ил палкой, и труба освободилась на длину локтя, и вода пошла в неё — горячая, парящая, — и через локоть встала, упёршись в новую пробку. Ещё локоть. Ещё. На четвертом труба кончилась: обломана, край в осыпи, дальше — камни обрушенной стены, под которыми, по словам Анселя, она шла раньше.

Вода вылилась из обломка на склон и пошла вниз сама по себе, растекаясь, остывая, никуда.

Я стояла над ней и смотрела, как она уходит. От ямы до стены, где начинались ванны, было шагов тридцать. Труба целая — четыре локтя. Дальше — либо откапывать старую под обвалом, либо класть новую сверху, деревянную, выдолбленную, на опорах, с уклоном, который я не умею рассчитать, а Ансель, может быть, помнит. Нужны брёвна. Нужны люди, которые умеют их долбить. Нужно, чтобы вода, дойдя до ванны по открытому желобу, осталась тёплой, — и насколько она остынет за тридцать шагов на ветру, я могла только гадать, потому что мерить мне было нечем, кроме локтя.

Локоть — это не прибор. Локоть говорит «терпимо» и «нет», а мне нужно число, и где его взять в этой долине, я не знала. Это был первый пункт в списке, которого у меня ещё не было.

— Ансель. Сколько шагов шёл желоб при отце?

Он подумал.

— До первой ванны — как отсюда до стены. Деревянный был, поверх каменного, когда каменный разбило. Отец долбил из колоды. Три дня долбил.

Три дня. Колода. Люди.

— А как он знал, что вода дойдёт тёплой?

— Так она доходила.

Это был ответ, и я его приняла. Я не могла проверить воду ничем, кроме старика, который помнил, что она доходила, и собственной кожи, которая ничего не доказывает, — и значит, первое время мне придётся верить старику больше, чем себе. С этим тоже надо было что-то делать.

* * *

На обратном пути я всё же посмотрела остальное — бегло, чтобы знать, что у меня есть, прежде чем считать, чего нет.

Ванны были. Четыре целых, под кустами и мусором, — белый камень с бортиком по колено, дно с уклоном, в нижнем углу отверстие. Две под обвалившейся стеной. Пол между ними — в чёрном иле по щиколотку, и я ступила в него в единственных башмаках, не подумав, и поняла это, когда ил зачавкал внутри: других башмаков нет, купить нигде, и вонять они теперь будут до конца своей жизни, которая, судя по подошвам, будет недолгой.

— Госпожа, — сказала Фрида снизу, от стены. Она стояла, сложив руки на животе. — Башмаки.

— Вижу.

— Ну да.

Ниже купальни, на плоском месте, из-под камня бил второй ключ — тише верхнего, теплее тела, если судить по руке, которую я сунула, — и растекался лужей шагов в сорок, и под водой лежала грязь: чёрная, жирная, без песка, которая липла к пальцам и не смывалась. Я знала, на что это похоже. У нас в санатории такую возили за двести километров в бочках и ругались с поставщиком каждую весну. Но «похоже» — не «то же самое», а что в ней, кроме серы, и нет ли чего лишнего, я узнать не могла: выше по склону не было ни двора, ни тропы, это я проверила глазами, и на этом проверка кончалась. Остальное — по старым людям и по осторожности.

Я вытерла руку о траву. Чёрное осталось.

У ручья из-под камней выходил третий ключ, холодный, и камни вокруг него были рыжие. Железо, наверное. Пить я не стала — не из этой руки и не в этот день, — и отметила про себя, что деревня, судя по протоптанной тропке, пьёт его давно, а значит, спрошу у Анселя, кто и с каких пор.

— Фрида. Сколько стоит бревно? Большое, толстое. И человек, который умеет его выдолбить.

Она посмотрела на мои башмаки, на чёрную руку, на пар над лужей, и сказала то, что, наверное, говорила Конраду, когда он возвращался из Низов и обещал купальню:

— Дорого, госпожа. Всё дорого. А людей в деревне вам не дадут, потому что храм.

— Это я уже слышала от Анселя.

— От Анселя вы слышали про сорок лет назад. А я говорю про прошлое воскресенье. Брат Иероним из Кальва повторяет это каждый праздник, и деревня слушает.

* * *

Мальчишка прибежал сверху, от дороги, когда я стояла у ручья и мыла руки — холодной, долго, без мыла, потому что мыло осталось в сторожке.

Он бежал и кричал ещё издали, и я увидела сначала его коленки — сбитые, обе, свежие, — потом рубаху не по росту, потом круглые глаза с веснушками вокруг.

— Тётя! Госпожа! Вы госпожа, да? Там мост!

— Что мост?

— Разобрали! Полковник велел! Ивар с утра брёвна таскает, два уже унёс, одно осталось, по одному не проедешь, только пройти, если не свалишься. Сказал — чтоб к гнилым ключам не ездили. Сказал: дорога казённая, а за ручьём пустошь, пусть пустошь и будет. — Мальчишка посмотрел на мои башмаки, на руки, на лужу. — А вы правда, что ли, в ней моетесь?

Я посмотрела за ручей. От мостика, который я видела утром из окна — три бревна с настилом, — осталось одно бревно, скользкое и голое. У него стоял человек в серой куртке, смотрел в нашу сторону и держал левую руку как-то не так: ниже правой, ближе к телу. Потом повернулся и пошёл к дому за дорогой — большому, каменному, с крыльцом, на котором в тени стояло кресло, и в кресле кто-то был.

Полковник. Ансель сказал утром: кордон егерский, казённый, живёт полковник, хворый, с денщиком, никого не пускает. «Хворый чем?» — «Нога». Нога — это слово, за которым может стоять что угодно, и я не стала гадать тогда. Теперь он разобрал мой мост — единственный путь с дороги на пустошь, по которому ко мне могло приехать всё, чего у меня не было: брёвна, доски, люди, если найдутся, — и гадать стало незачем. Надо было идти и смотреть.

— Нет, — сказала я мальчишке. — Я в ней не моюсь. Я в ней буду лечить. Как тебя зовут?

— Касс.

— Касс. Ручей глубокий?

— По колено. Холодный только. И воняет потом.

— Это я уже знаю, — сказала я, подобрала юбку и пошла в воду.

Глава 3

Ручей был по колено, а казался глубже, потому что вода шла быстро, тянула юбку и норовила выбить ноги из-под меня на каждом круглом камне. Я переходила его, подобрав платье выше, чем положено вдове, и Касс смотрел с берега с таким вниманием, будто заранее прикидывал, где меня вылавливать.

Не выловил. Я вылезла на тот берег мокрая до бёдер, отжала подол — не спеша, бежать я не собиралась — и пошла по дороге к дому.

Дом вблизи оказался больше, чем с моего берега: каменный, в полтора этажа, с широким крыльцом под навесом и двором за низкой стеной; у коновязи стояла одна лошадь, крупная и немолодая, с провисшей спиной; пахло дымом, конём и смолой. Человек в серой куртке стоял посреди двора и ждал. Лет пятьдесят с лишним, седой, стриженный коротко, с лицом, которое не показывало ничего, — и левая рука у него висела ниже правой, локоть прижат, кисть чуть внутрь. Я отметила и отложила. Не сейчас.

— Мне нужен полковник.

— Полковник не принимает.

— Я не на приём. Я соседка. Агата Ровенн, владелица пустоши за ручьём. У нас с полковником был общий мост, и теперь его нет.

Он посмотрел на мою юбку. Потом на крыльцо. С крыльца, из тени под навесом, негромкий голос сказал — не повышаясь, но так, что было слышно на весь двор:

— Ивар. Пусть подойдёт.

* * *

Я видела много людей в креслах. Это, собственно, и есть моя работа: люди, которые сидят, когда должны были бы ходить, — и я привыкла первым делом смотреть не на лицо, а на то, как человек сидит. Этот сидел прямо, не касаясь спинки, и правая нога у него была вытянута вперёд на низкую скамеечку и укрыта пледом до середины голени. Пятка стояла на скамейке. Колено — я видела это даже через плед — оставалось согнутым и висело над пустотой, между пяткой и сиденьем, без опоры, и вся тяжесть голени тянула его вниз. Бедро под сукном было заметно тоньше левого. Рядом с креслом стояли две палки, тяжёлые, с набалдашниками, стёртыми там, где ложится ладонь.

Только потом — лицо. Лет сорок пять. Большой, широкий в плечах так, что кресло под ним казалось маловатым; короткие волосы с проседью; нос, когда-то сломанный и сросшийся немного вбок; белый старый шрам через левую бровь. На коленях раскрытая книга, заложенная пальцем, и рука на книге — крупная, с разбитыми когда-то костяшками, спокойная. Я задержалась на этой руке на секунду дольше, чем нужно врачу, и разозлилась на себя: у меня перед глазами было колено, а я смотрела на руку. На столике рядом — трубка, не раскуренная, и кружка.

Он смотрел на меня через невидимое стекло и ждал.

— Госпожа Ровенн. Вы перешли ручей вброд.

— Моста не было.

— Моста нет, потому что я распорядился его разобрать. Дорога казённая. За ручьём — частная пустошь, к которой казённый мост вести не обязан.

Он не оправдывался и не врал. С «ремонтом» я бы ещё поспорила, с распоряжением спорить было не о чем.

— Полковник, мне через ручей возить лес. Телега без моста не пройдёт.

— Возчики доставят до ручья. Дальше — ваша забота.

— Через воду?

— Через воду, госпожа Ровенн, вы только что прошли сами.

Я не ответила — не потому что нечего было, а потому что всё, что я могла ответить, он уже слышал, судя по лицу, от людей поумнее меня.

— Зачем вам лес? — спросил он.

— Желоба. Ванны. Навес.

— Вы собираетесь открыть купальню.

— Я собираюсь восстановить то, что там стояло. На моей земле, на моей воде.

— Храм закрыл эту воду сорок лет назад.

— Храм не лечит ноги.

Он чуть повернул голову — на палец, не больше, — и стекла между нами не стало.

— Храм лечит, госпожа Ровенн. Выжиганием. Дважды.

Слова я не знала. Но «дважды» он сказал так, что я поняла: это было больно, и это не помогло, и говорить об этом дальше он не будет. Я посмотрела на его ногу.

На пятку на низкой скамейке. На колено, которое висело над пустотой и тянуло вниз всем весом голени. На то, как он держал спину — не касаясь, разгружая поясницу тем, чем мог. Он сидел так, по-моему, давно, и ему было больно, и он читал книгу, чтобы не думать о том, что больно.

И я сказала то, что сказала бы в любой палате, увидев такую укладку:

— Вы сидите неправильно. Колено висит без опоры, голень его тянет, и всё, что там болит, от этого болит сильнее. Под колено нужен валик, мягкий, из свёрнутого одеяла, и...

— Уездный лекарь велел так, — сказал он. Ровно, не перебивая, — я сама замолчала. — Пятку на опору, под колено ничего не класть. По часу, трижды в день. Чтобы разгибалось под своим весом.

Я стояла с открытым ртом.

Потому что лекарь, которого я заранее, не видев, записала в коновалы, велел разумную вещь. Пятка на опоре, колено без поддержки, тяжесть голени тянет его вниз, к прямой, — это укладка на разгибание, её знают все, кто работал с коленом, которое не выпрямляется до конца, и я сама назначала её сотни раз. Правильно ли выбран час, трижды, с весны, — я не знала, для этого надо было посмотреть ногу. Но валик под колено для такой укладки — помеха, и я предложила его человеку, не спросив ни что с ногой, ни что ему велели, ни что он сам думает. При его денщике. На его крыльце. В первую минуту.

— Он прав, — сказала я. — Лекарь. Я не спросила.

Полковник закрыл книгу. Не заложив пальцем — закрыл и положил на столик, корешком ко мне, и я прочла заглавие, потому что глаза читают сами: «Пчеловодство для сельских хозяев». Зачем человеку с такими плечами пчёлы, я не знала.

— Ивар, — сказал он.

— Господин полковник.

— Госпожа Ровенн уходит. Проводи до воды. — Говорил он Ивару. Глаза были на мне. — И напиши сегодня в Кальв брату Иерониму. Что у нас за ручьём теперь лечат. Пусть знает.

Я не отвела глаз, потому что отводить было уже поздно.

— Выйдите, — сказал он тише. — Со двора. Сейчас.

Я вышла.

* * *

Ивар шёл на полшага сзади, и я шла и не злилась. Злость пришла бы, если бы меня выгнали ни за что; меня выгнали за дело, а это переживается дольше. Хуже всего было даже

не то, что он меня выставил, а то, что уездный лекарь, которого я ни разу не видела, понимает в этой ноге больше, чем я показала, и теперь полковник это знает.

— Ивар, — сказала я, не оборачиваясь.

— Госпожа.

— Давно он так сидит? По часу?

Он не ответил.

— Я не буду больше советовать. Я спрашиваю.

Молчание. Потом, нехотя:

— С весны.

— Легче стало?

— Он не говорит.

Я кивнула, хотя он шёл сзади и не видел. С весны — и он не говорит, легче ли. Он мог не замечать малого улучшения, мог терпеть лишнюю боль, мог делать это неправильно, — я не знала и не узнаю, пока он не позволит посмотреть, а он не позволит. Ладно. Это не моё колено. Я напредила себе об этом дважды, прежде чем поверила.

У ручья Ивар остановился. Я тоже.

Он смотрел на воду, а я смотрела на его плечо. Левое. Он держал его ниже правого, локоть прижат, и, когда я повернулась к нему, он развернулся всем корпусом, а не шеей, как разворачиваются, когда лопатку лучше не трогать. Или когда болит шея. Или и то и другое — я не знала и на этот раз не стала делать вид, что знаю.

— Плечо, — сказала я. — Левое. Что с ним?

Он впервые повернул ко мне лицо, а не плечо.

— Полковник не велел разговаривать, госпожа.

— Полковник велел проводить до воды. Про разговаривать он не говорил, я слушала внимательно.

Лицо у него осталось прежним, но он чуть дольше, чем нужно, молчал, прежде чем ответить.

— Идите, госпожа. Холодно.

Я подобрала юбку и вошла в воду. Она была та же, что полчаса назад, — быстрая, по колено, с круглыми камнями, — и на том берегу Касс сидел на камне, обхватив коленки, и ждал.

— Ну? — сказал он.

— Мост не починят, — сказала я. — Зато я узнала два слова. «Выжигание» и «Иероним».

— Иероним — это из храма. Он в Кальве. — Касс встал. — А выжигание — это когда храмовые жгут. Мамка говорит, после этого орут на всю улицу.

Я остановилась на берегу с мокрой юбкой в руках. Значит, в городе, в храме, сидит человек, который держит мою воду нечистой — сорок лет храм, а теперь он, — и сегодня вечером ему напишут, что вдова с ключей лечит. А человек, который напишет, — тот, кому я только что при денщике объяснила, как сидеть, и ошиблась.

— Ничего страшного, — сказала я.

Касс покосился на меня с сомнением и ничего не сказал.

* * *

В сторожке Фрида раскладывала на столе склянки — те, что привезла в своём узле с Липовой: тёмное стекло, пробки, бумажные ярлыки, надписанные одной и той же рукой. Она выстраивала их по размеру, от больших к малым, и, когда я вошла, не подняла головы.

— Ну?

— Доски будем носить через воду.

Она посмотрела на мою юбку, с которой натекло на пол, и ничего не сказала про юбку. Сказала другое:

— Он вас выгнал.

— Он велел мне выйти со двора. — Я села на лавку и стала расшнуровывать башмаки; пальцы не слушались от холода. — За дело, Фрида. Я полезла с советом, не спросив. Там уже был лекарь, и он велел правильно, а я этого не знала и сказала наоборот.

Фрида поставила склянку.

— Конрад так делал, — сказала она. — Первые лет пять. Приходил, смотрел, говорил, что все до него дураки. Потом один полковник в Низах его за это выставил за дверь. Денщик у полковника горел в лихорадке, и Конрад с порога сказал, что лечили неправильно. — Она взяла следующую склянку. — Конрад вышел, сел на крыльце и просидел до утра. Утром его позвали. Денщик выжил. А полковник потом два года платил ему за всех своих, кто болел.

— Зачем вы мне это рассказываете?

— Затем, что крыльцо у вас теперь тоже есть. Через ручей.

Я сняла наконец башмак и поставила его к печи. Он вонял грязью, серой и ручьём.

— Фрида. Что такое выжигание?

Она ответила не сразу — вытерла руки о тряпицу на поясе, хотя руки были сухие.

— Храмовые жгут. Прикладывают к ноге, к спине, куда болит, — горячее. Не железо, Конрад говорил, что это их тайна и что за такую тайну он бы сажал. Человек кричит. Потом ему легче, на месяц, на два. Потом снова. Пятьдесят крон за раз. — Она помолчала. — Конрад видел, что остаётся после. Говорил: как после печи.

Как после печи. Рубцы. Я вспомнила, как он не посмотрел на свою ногу ни разу за весь разговор, и как держал её на весу час за часом по чужому велению. Если под коленом рубец от ожога, он мог не поддаваться весу голени, а только болеть, — но это было предположение, одно из нескольких, и проверить его я не могла, пока он не позволит, а он не позволит.

— Доски, — сказала Фрида. — Через воду. Сколько их будет?

— Много.

— Ансель один не перетаскает. Я — спиной. Мальчишка лёгкий. — Она убрала тряпицу. — Значит, завтра в деревню. И не ждите, что они пойдут за вами, госпожа. Кто пойдёт — пойдёт за деньгами, и таких найдётся немного, и каждого придётся уговаривать отдельно, потому что храм.

Я кивнула и посмотрела на свой второй башмак, который ещё предстояло снять. Один мокрый башмак у печи. Репутация, сделанная за ручьём за три минуты. И колено, которое не моё, о котором я, засыпая, думала дольше, чем о собственной голове.

Глава 4

До деревни было полчаса под гору, и все полчаса Фрида учила меня быть Агатой.

Делала она это без предисловий и без «вы только не обижайтесь» — ровным голосом, которым, наверное, восемнадцать лет объясняла больным, что сейчас будет больно, а потом станет легче.

— Здравовалась кивком. Не глядя. Не потому что гордая — стеснялась. Ела мало, лук не ела вовсе, от жирного её мутило. Собак боялась, обходила. В храм ходила по праздникам, дома не молилась, Конрад этого не любил, а она делала, как он. Говорила тихо. Вот так, — Фрида понизила голос почти до шёпота, и вышло не похоже ни на неё, ни на меня. — Если на неё повышали голос, она замолкала. Совсем. На день.

— А я?

— А вы вчера Анселю велели подвинуться и не заметили, что велели. — Она шла, глядя под ноги. — Вы громкая, госпожа. Не голосом — спиной. Вы идёте, как будто вам все должны уступить, и они уступают. Агата так не ходила.

Я попробовала идти иначе. Опустить плечи, укоротить шаг, смотреть не вперёд, а вниз и в сторону. Вышло плохо — спина за сорок четыре года привыкла ходить по коридору, в котором с обеих сторон палаты, и любой, кто идёт навстречу, должен понимать, что я тороплюсь не к нему.

— Хуже, — сказала Фрида. — Теперь вы идёте, будто прячете что-то под юбкой. Идите как шли. После удара люди меняются, это все знают. Я скажу — после удара.

— Вы всем так скажете?

— Я скажу один раз Юте. Дальше она сама.

— Кто такая Юта?

Фрида покосилась на меня.

— Увидите, — сказала она. — Её трудно не увидеть.

Дорога шла вдоль ручья, и кордон был виден с неё весь: двор, коновязь, крыльцо. На крыльце стояло кресло, и в кресле сидел он — с книгой, с ногой на скамейке, — и не повернул головы, когда мы проходили по тому берегу, хотя не услышать нас было нельзя: Фрида говорила, а я не умею ходить тихо. Я тоже не повернула головы. Повернула Фрида.

— Смотрит, — сказала она.

— Он читает.

— Он читает одну страницу с тех пор, как мы вышли из-за поворота, госпожа. Я считаю. Я восемнадцать лет считала, сколько страниц переворачивает Конрад, когда делал вид, что читает, а сам ждал больного.

* * *

Деревня Ключи стояла в том месте, где долина расширялась и ручей замедлялся, — два десятка дворов по обе стороны дороги, серые дома под дранкой, плетни, козы. Над дальним краем, у леса, поднимались столбы густого низкого дыма: там жгли уголь. Пахло им отовсюду, и люди, которые выходили посмотреть на нас, были все немного серые от угля, который въедается в кожу и не отмывается, как у меня в прошлой жизни не отмывалась с рук зелёнка, сколько ни три.

На нас смотрели без вражды, с прикидкой: что привезли и почём.

Староста нашёлся сам: вышел из крайнего двора, большой, седой, в хорошей рубаше, руки сложены на животе — ему явно было некуда спешить. Томас. Фрида назвала его шёпотом, и шёпот этот был, кажется, не для меня, а для него: чтобы он понял, что его знают.

— Госпожа Ровенн, — сказал он. Поклонился ровно настолько, насколько положено кланяться вдове с пустошью. — Соболезную. Лекарь был хороший человек. Приезжал к нам как-то, когда у Марты дитё горело. Денег не взял.

— Спасибо.

Я сказала это, и Фрида рядом не шевельнулась, но я почувствовала, как она не шевельнулась.

— С чем пожаловали?

— Мне нужны работники. Два-три человека. Таскать, копать, чистить камень. Платить буду.

Томас кивнул, как будто ждал именно этого и именно это его огорчало.

— Не пойдут, госпожа.

— Почему?

— Вода дурная. Храм сказал, сорок лет как. Брат Иероним каждый праздник напоминает. С тех пор туда никто не ходит, кроме Анселя, а Ансель — он и сам, простите, не то чтобы в себе. У кого дети — не пустит. У кого скотина — побоится, что принесёт на подошвах.

— Что принесёт?

— Скверну, госпожа.

Он сказал это без улыбки и без злости, и я вдруг поняла, что он не врёт и не торгуется. Он так думает. Или так думает тот, кому он должен, — Фрида сказала утром, что староста второй год не отдал храмовому эконому за семена, и что эконом этого не забывает.

— Староста. — Я остановилась на этом слове и поняла, что Агата бы так не сказала. Ладно. После удара. — Я не прошу никого лезть в воду. Я прошу таскать доски и копать канаву. За деньги. Вперёд.

— Не пойдут, — повторил Томас. — Я не могу неволить, госпожа. Я тут не хозяин, я староста. — И прибавил, тише, уже не для улицы: — Вы бы с братом Иеронимом поговорили. Он человек мягкий. Если он скажет — пойдут.

Если он скажет. Человек, которому полковник вчера велел написать «про лекаршу».

— Спасибо за совет, — сказала я и услышала, что голос у меня стал тот, которым я разговариваю с поставщиками, которые «не могут» привезти вовремя.

* * *

Юту мы встретили, не доходя до её двора, — вернее, это она нас встретила. Шла навстречу с двумя ведрами на коромысле, широкая, в юбке, подоткнутой до колен, с голосом, который было слышно раньше, чем её саму:

— Это вы, что ли, лекарша с ключей? Фрида, это она? Ну и худая. Касс говорил — худая, я не верила.

Она поставила ведра и осмотрела меня с головы до башмаков — честно, без стеснения, будто прикидывала, сколько я протяну на тяжёлой работе.

— Башмаки в грязь сунули, — сказала она. — В чёрную. Теперь не отмоеете.

— Знаю.

— А чего полезли?

— Посмотреть.

— Ну, — сказала Юта, — хоть не врётё. Староста сказал — не пойдут?

— Сказал.

— Он и мне скажет. Он всем скажет. У него эконом храмовый за семена второй год на шее сидит, он теперь храму до смерти должен, и все это знают, и он знает, что все знают. — Она подняла коромысло. — А я никому не должна. У меня муж в куче угорел три года назад, и

мне с тех пор никто ничего не дал, кроме совета молиться. Я помолилась. Не помогло. Сколько платите?

Цену я спросила у Фриды утром, по дороге: двадцать грошей в день, если работа тяжёлая. Я назвала сорок. Нарочно, вслух, на улице, чтобы слышали те, кто смотрел через плетни: вдвое против обычного — за то, что храм против, за то, что староста сказал «не пойдут», за страх, который здесь стоил денег, как и всё остальное.

— Сорок грошей в день. За неделю вперёд.

И вынула кошель — тут же, не отходя. Фрида сказала: «Госпожа», — тем голосом, которым, видимо, останавливала Конрада, и я услышала и не остановилась: развязала и отсчитала Юте в ладонь на виду у улицы, потому что мне казалось, что так честнее: сказала — заплатила.

Юта взяла. Пересчитала. Посмотрела на кошель, который я не успела завязать, потом на меня, потом на соседний плетень, из-за которого на нас смотрела женщина, и ещё один, из-за которого смотрела другая.

— По рукам, — сказала она. И прибавила, тише и без смеха: — Госпожа. Кошель спрячьте. И вперёд больше никому не давайте. Я возьму, я дура, что ли. Но вы с этим не на улице.

Я спрятала. Поздно: две соседки видели, сколько там, и видели, что вдова платит вдвое и вперёд, и к вечеру это знала вся деревня. Фрида на обратном пути скажет мне это одной фразой: «Теперь к вам придут все, кому надо денег, и ни один, кому надо работать». Она окажется права наполовину, и это будет лучшая половина из возможных.

— Касса возьмёте? — спросила Юта деловито. — Он лёгкий, но быстрый. Подносить, бегать. За десять грошей.

— Возьму.

— И бельё я стираю. И воду ношу. А в вашу вонючую не полезу, госпожа, не просите.

— Не попрошу.

— Ну и ладно, — сказала Юта. — А чего. Деньги не воняют.

* * *

Остальное купила Фрида, а я стояла рядом и молчала, потому что уже поняла, что молчать мне здесь выгоднее всего: у бондаря — две большие кадки и малую, под руки, за две кроны вместо трёх, с тем, что бондарь сам доведёт их на тачке до ручья к вечеру; у вдовы ткача — серую холстину на простыни, за полторы. Воск, сказала Фрида, у неё есть, Конрадов, и полфунта огарков в тюке, если нужно.

— Нужно. Руки греть. Анселю.

Фрида ничего не спросила. Она вообще мало спрашивала — откладывала вопросы куда-то, как откладывала склянки, по размеру, на потом.

Назад шли в гору, медленнее. Касс бежал впереди. Юта обещала прийти завтра с утра, с бельём и вёдрами, и привести «кого-нибудь ещё, кому храм не указ, таких у нас полдеревни, только они тихие». Староста Томас стоял у своего двора, руки на животе, и смотрел нам вслед — без злости, как на дождь, который всё-таки пошёл.

— Он должен эконому, — сказала я. — Сколько?

— Двенадцать крон, — сказала Фрида. — Юта знает всё.

— А если я ему их дам?

— Тогда он будет должен вам. — Фрида шла, не сбавляя шага. — И будет ненавидеть вас вместо эконома. Конрад так делал. Все, кого он выкупил, потом переставали с ним здороваться. Кроме меня. — Она помолчала. — Я перестала через год. Потом начала снова.

Я ничего не ответила. Двадцать девять крон оставалось у меня после сегодняшнего дня: три с половиной ушли на неделю Юты и Касса, две — за кадки, полторы — за холстину. Я

считала это, пока мы поднимались, так, как считала всю жизнь: сколько дней работы на эти деньги, сколько процедур, сколько белья. Выходило мало. Выходило, как всегда.

* * *

Вечером Ансель сидел у печи, как вчера. Фрида варила. Касс, которому полагалось идти домой, сидел на пороге и не шёл, потому что ему было интересно, а интересно ему было всё, включая то, как Фрида режет лук, которого Агата не ела, а я ела, и он это заметил и ничего не сказал — только задержал на мне взгляд чуть дольше, чем надо, и вернулся к луку.

Я сидела за столом и писала — печатными буквами, потому что почерк Агаты, мелкий, с наклоном влево, у меня не получался, я попробовала на обороте выписки и бросила. Писала, что надо сделать и кто это будет делать, и в конце списка людей написала «полковник» и зачеркнула. Потом написала снова, ниже, отдельно: *скамейка*. И ещё ниже: *Ивар — плечо*.

Ансель встал. Медленно, держась за лавку. Подошёл к столу. Я подняла голову и увидела его руки раньше, чем поняла, что он делает: он положил их на стол передо мной, рядом с моим списком, ладонями вверх. Обе. Скрюченные, тёмные, с толстой кожей, с пальцами, согнутыми так, будто каждый держал что-то и не отдавал.

— Отец говорил — вода лечит, — сказал он. — Вы тоже говорите.

Я смотрела на его руки.

— Попробуйте на мне.

Касс на пороге перестал дышать. Фрида перестала резать лук.

Я положила ладонь на его правую кисть — сверху, не нажимая, просто чтобы почувствовать, тёплая она или холодная. Она была холодная. И твёрдая — не костью, а всем сразу, как бывает у того, что давно не двигалось.

— Завтра, — сказала я. — Утром, при свете. Сначала посмотрю каждый палец. Потом вода. Если станет больнее или пальцы начнут неметь — скажете сразу. Не терпите ради меня, я этого не увижу, если вы не скажете.

— А если не будет хуже?

— Тогда будем смотреть дальше.

Он кивнул, забрал руки со стола — медленно, по одной — и пошёл к печи. На пороге Касс выдохнул.

— А правда, что ли, разогнутся? — спросил он шёпотом.

— Не знаю, — сказала я. — Посмотрим.

Фрида снова взялась за лук. Касс остался сидеть на пороге, хотя его давно ждали дома, и не сводил глаз с рук Анселя у печи — как будто они могли разогнуться прямо сейчас, если очень смотреть.

Глава 5

Руки я смотрела у окна, при утреннем свете, усадив Анселья на лавку спиной к солнцу.

Палец за пальцем. Я брала каждый, как берут что-то чужое и хрупкое, и вела — сначала давая ему двигать самому, потом сама, — и следила за его лицом: где он вдохнёт. Он не вдыхал. Он сидел прямо и смотрел в окно.

Суставы были тугие, но живые: под моими пальцами они шли, неохотно, на сколько-то, и не скрипели, и не были горячими. Хуже было с ладонями. На обеих, под кожей, от середины ладони к безымянному и мизинцу, тянулись тяжи — плотные, как шнур, вросший под кожу. Я нажала и спросила, больно ли. «Нет». Чувствует ли палец? «Чувствую». Значит, держит, не болит, — похоже на то, что у нас зовётся по фамилии француза, Дюпоитрена: тяжи ладони стягивают пальцы, и одним теплом их не убрать. То, чем это лечат, здесь было взять негде. Тяжи останутся. Что я могла — суставы, которые закалились рядом с тяжами, и хват, который можно приспособить под то, что осталось.

— Ансель. Вот здесь, — я провела по тяжу, — это не уйдёт. Я не умею это убирать, и здесь никто не умеет. Вот это, — я согнула и разогнула его указательный в суставе, — попробуем разработать. Станут ли пальцы подвижнее — не обещаю, посмотрим через две недели. А ложку попробуем сегодня — не пальцы под ложку, а ложку под пальцы.

Он подумал.

— Отец ложку до смерти в кулаке держал.

— Я не знаю, что мешало вашему отцу. Ваши руки давайте смотреть отдельно.

Ложку я обмотала холстом — черенок стал в два пальца толщиной, как у детской лопатки, — и вложила ему между большим и согнутыми остальными. Он подержал. Донёс до рта пустую. Поставил.

— Держится, — сказал он.

— Держится. Это не ваши пальцы стали лучше, это ложка стала толще. Но есть ею можно.

* * *

Воду для рук я принесла сама, в малой кадке, от верхнего ключа, и разбавила холодной из нижнего — градусника у меня не было, и я мерила локтем, как мерила моя первая медсестра в санатории, когда градусник разбивался. Горячо, но терпимо, и хочется подержать — в такую можно опускать руки. Точного числа я не знала и каждый день собиралась что-нибудь с этим придумать.

Ансель опустил кисти по запястья. Я засекла по часам.

Часы были Конрадовы, из сюртука, с треснувшим стеклом; я носила их теперь в кармане платья и доставала так часто, что Фрида перестала на это смотреть.

— Пятнадцать минут, — сказала я Анселью. — Сегодня — одна вода и чуть-чуть рук. Посмотрю вечером и утром, что скажет кожа и что скажете вы. Если пойдёт — добавим воск и будем делать чаще. Если ночью пальцы будут болеть сильнее, чем болят всегда, — скажете.

Он чуть наклонил голову — у него это сходило за улыбку.

Воск я добавила на второй день, когда кожа после воды осталась обычной и ночью он не проснулся. Растопила в Фридиной мисочке на краю печи, с ложкой масла, которое она отмерила молча, чтобы не трескался, и ждала, пока он остынет до того, что воск умеет лучше всего: ещё жидкий, но уже на грани, когда на пальце он твердеет плёнкой, не обжигая. На этом стоит вся парафиновая процедура, и воск здесь работает так же — он отдаёт тепло медленно и не держит его выше того, что терпит кожа. Я проверила на внутренней стороне своего предплечья, потом на его. Потом окунула его кисти — раз, вынула, подождала, пока схватится, снова

окунула, и так пять раз, пока на руках не выросла жёлтая мягкая перчатка, — и завернула их в холст, а поверх — в старый платок Фриды.

— Теперь сидите. Пятнадцать минут. Не шевелите.

— Я и так не шевелю, — сказал Ансель. — Лет десять.

Потом был воск с рук, а потом были руки.

Я села напротив, взяла его правую в обе свои и стала разгибать. Не ломая. До мягкого натяжения — не трогая тяж, только сустав, — и держать, спрашивая, терпимо ли. Считать.

— Раз. Два. Три. Четыре. Пять...

Это у меня с первого года в санатории. Я считаю вслух, и пациент дышит в такт, и ему легче терпеть, потому что он знает, когда кончится, — и мне легче, потому что я тоже знаю. Беда в том, что я не умею остановиться на семи. Если держать уже не надо на восьми — я отпускаю, а считать продолжаю до десяти, вслух, впустую, и пациенты смотрят на меня странно. Двадцать лет не могу с этим ничего сделать.

— ...восемь. Девять. Десять.

Отпустила. Палец вернулся назад — не совсем туда, откуда начинал. На волос, на пол-волоса — но назад не весь. Ансель смотрел на палец, как будто тот был чужой и сделал что-то без спроса.

— Так, — сказал он.

— Теперь следующий.

* * *

К третьему дню про руки Анселя знала вся деревня, потому что Юта приходила с утра и уходила к вечеру, и всё, что она видела между этим, к ночи знали её соседки. Я ничего не могла с этим сделать и не пыталась.

С того берега тоже смотрели. Я видела это, когда поднимала голову от кадки: Ивар выносил на крыльцо кресло, потом скамейку, потом выходил полковник — на палках, медленно, — и садился, и устраивал ногу, и раскрывал книгу. И книга эта, по-моему, за три дня не продвинулась ни на страницу, потому что всякий раз, когда у моего навеса кто-то появлялся, голова над книгой чуть поворачивалась. Я не махала. Он не кивал. Так и жили: он смотрел, как ко мне ходят, я смотрела, как он смотрит, и оба делали вид, что заняты другим.

На третий день утром за Ютой пришли двое. Тихие, как она и обещала: женщина лет пятидесяти с лицом, выдубленным углём, по имени Марта — та самая, у которой «дитё горело», и Конрад не взял денег; и девушка лет семнадцати, Марты дочь, молчаливая, с большими руками. Они встали у края купальни и смотрели, как Ансель сидит с руками в кадке.

— Можно? — спросила Марта.

— Смотреть — можно.

Они смотрели. Пятнадцать минут. Потом смотрели, как я снимаю с него воск, и как разгибаю пальцы и считаю вслух, и Марта шевелила губами, считая вместе со мной, и на «десять» выдохнула.

— Он ложку взял, — сказала Юта. Громко, для них. — Пальцами. Я видела. Ты, Ансель, скажи.

— Взял, — сказал Ансель.

Это было правдой — с толстым черенком, обмотанным холстом, и Юта не стала уточнять про черенок, а я не стала поправлять. Марта стояла и не сводила глаз с рук старика, и я подумала, что у неё дома тоже кто-то не может взять ложку, и что про черенок она узнает сама, когда придёт за своим.

Через час я сделала то, о чём Юта потом рассказывала в деревне три дня.

Юта таскала воду. Она носила её коромыслом, как носят всю жизнь, — но не ровно, а скособочившись на правую сторону, так что одно ведро шло ниже другого и выплёскивалось, и она ругалась на ведро. Я смотрела на это три дня. На третий не выдержала.

— Юта. Стой. Больно нести?

Она остановилась.

— А чего. Привыкла.

— Шея болит? К вечеру?

— А у кого не болит.

— Можно посмотреть? Руками.

Она пожала плечами — и правое при этом поднялось выше левого на два пальца. Я сняла с неё коромысло, поставила вёдра и положила руки ей на плечи, сзади. Надавила. Опустила. Провела ладонью по лопатке вниз, туда, где у человека мышца, а у неё был камень.

— Вот так. Плечи вниз. Оба. Чувствуешь, где тянет?

— Ну.

Я нашла большим пальцем то место у края лопатки, где мышца собирается в узел, — у неё он был с грецкий орех, — и нажала. Так, как нажимают, когда знают, что сейчас будет.

Юта охнула. На всю долину, с её голосом, — и вторым звуком было то слово, одинаковое во всех мирах, а третьим, через секунду, когда я отпустила:

— Ой. Госпожа. А шею-то... отпустило.

Она повертела головой. Вправо, влево — дальше, чем утром, и лицо у неё стало растерянное.

— Носи ровно. Низко. И приходи вечером, покажу, как это делать самой, без меня.

Марта и её дочь стояли у края купальни и смотрели. Не на Юту — на меня, на мои руки, и я поняла, что сделала, через секунду после того, как сделала: при двух женщинах из деревни, которая боится храма, я нажала человеку на шею, и человек охнул на всю долину, и ему стало легче. Храмовые берут за «легче» пятьдесят крон и оставляют ожог. Я не взяла ничего и оставила красное пятно на шее Юты, которое пройдёт к вечеру.

— Костоправка, — сказала Марта негромко. Не мне — дочери.

К вечеру Касс доложил, что в деревне говорят: вдова с ключей мнёт без выжигания и без денег, Юта вертит головой, как сова. Половина говорит — костоправка, надо сходить. Половина — что бесплатно только сыр в мышеловке и что храм узнает.

— А вы какая? — спросил он.

— Я врач, Касс. Это третье.

Он не понял, но запомнил. Он всё запоминал. А Марта на следующее утро пришла с дочерью не смотреть, а работать — за то, чтобы я, когда будет вода, посмотрела спину её мужа, который третий год не разгибается после угольной ямы. Денег я ей не предлагала. Она бы не взяла, и я уже понимала почему.

* * *

Нарочный приехал на шестой день, под вечер, верхом, на лошади, которая стоила больше всей моей пустоши вместе с водой.

Он был в пыли, молодой, равнодушный, и письмо подал без слов, глядя мимо: за доставку ему уже заплатили, остальное его не касалось. Фрида взяла. Посмотрела на печать и отдала мне, и по тому, как она отдала, я поняла, от кого письмо, раньше, чем прочла.

Печать была красная, с вензелем. Почерк — красивый, ровный, с нажимом, почерк человека, который много пишет и любит, как это выглядит.

Дорогая сестра,

до нас дошло, что ты всё же добралась до пустоши и что здоровье твоё после дороги оставляет желать лучшего. Мы с Хельгой очень тревожимся. Ты знаешь, как мы относились к затее бедного Конрада с купальней: это была его слабость, и мы её прощали, но ты-то разумная женщина. Пустошь — обуза. Вода там дурная, деревня дикая, доход невозможен, а налог придёт осенью, и платить его будет нечем.

По-родственному предлагаю: я беру пустошь на себя, со всеми её заботами, а тебе — десять крон и комната у нас, пока ты не устроишься. Это больше, чем она стоит, и ты это знаешь. Бумагу я заготовил; подпиши у уездного нотариуса в Кальве до конца месяца, и всё будет кончено без лишних хлопот для тебя.

Не тяни, Агата. Мы же не чужие.

Твой Лотар.

И ниже, другим почерком — мелким, круглым, торопливым:

Бедная моя Агата! Ты же знаешь, что одна ты не справишься, ты никогда не справлялась. Приезжай. Твоя комната ждёт. — Х.

Я прочла дважды. Фрида стояла рядом и не читала — она знала наизусть, не это письмо, так все предыдущие.

— «По-родственному», — сказала я.

— Это он так всегда, — сказала Фрида. — Когда дом забирал, тоже так говорил. Конрад, когда болел, говорил — Лотар никогда не угрожает. Он жалеет вслух. И всё, что он жалеет, потом становится его.

Десять крон. Комната у них. «Ты никогда не справлялась».

— До конца месяца десять дней, — сказала Фрида. Она знала здешний счёт дням; я не знала даже, какой сегодня.

Я сложила письмо, положила на стол, на свой список, поверх слов «желоб» и «затвор», и пошла мыть руки — с мылом, долго, до локтя.

— До Кальва четыре часа, — сказала Фрида за спиной. — Нарочный ночует в Ключах и утром заедет за ответом. Завтра суббота, палата до полудня, в воскресенье закрыта. — Она помолчала. — Если ехать — то завтра. И не к нотариусу.

Глава 6

Ответ Лотару я писала при свече, печатными буквами — трудное письмо: смысл уместился в четыре строки, а руки не слушались.

Я написала их сначала как думала — «пустошь не продаётся, к нотариусу не поеду, деньги оставьте себе», — и Фрида, прочитав через плечо, сказала: «Так пишут, когда хотят, чтобы человек приехал сам». Я переписала. Вышло так:

Дорогой Лотар. Благодарю за заботу. Пустошь оставляю за собой, как указано в решении суда. Здоровье моё поправляется. Писать печатными меня вынуждает голова после ушиба, не сочти за небрежность. Агата.

— «Не сочти за небрежность» — это она бы написала? — спросила я.

— Она бы вообще не написала, — сказала Фрида. — Она бы поехала к нотариусу. — И прибавила, помолчав: — Но если бы написала — то так.

Подпись я срисовала с записной книжки — с внутренней стороны обложки, где Агата когда-то вывела своё имя, как выводят в детстве, пробуя новое перо. Вышло похоже — настолько, чтобы тот, кто знает руку, задумался.

Нарочный взял письмо утром, не слезая с седла, и уехал, не оглянувшись. Я смотрела ему вслед и думала, что через три дня это прочтут в столице, и что с этого момента ничего нельзя будет переиграть. Десять крон и комната. Я представила эту комнату — за кухней, с окном во двор, с кроватью, на которой «бедная Агата» будет лежать и благодарить. У меня в отделении в такие комнаты ставили тех, за кого платили родственники, чтобы не возить домой.

«Нет», — сказала я вслух, лошади. Лошадь была Конрадова, старая, пегая, с добрыми глазами и провисшей спиной, — Лотар её не взял, Фрида сказала, потому что «кляча»; и на этой кляче мы через час поехали в Кальв.

* * *

Четыре часа на телеге — это долго, когда не умеешь сидеть на телеге.

Фрида правила. Она правила Конраду восемнадцать лет — молча, глядя вперёд, и вожжи лежали у неё в руках свободно, как ложка. Юта сидела сзади на холстине и говорила. Касс свешивал ноги и смотрел на дорогу, потому что дальше развилки, где дорога из долины выходила на тракт, он не бывал никогда.

Я сидела рядом с Фридой и держалась.

Дорога шла вниз, из долины, лесом, потом полями, потом вдоль широкой реки, и чем дальше, тем больше вокруг становилось телег, дыма и людей. Юта называла мне всё, мимо чего ехали, и из этого всего я запомнила Гнилую развилку, где дорога из долины выходит на тракт и где ночуют возчики, и заставу перед городом, где спрашивают, кто.

На заставе спросили. Фрида сказала: «Вдова лекаря Ровенна, в палату». Солдат оглядел платье, лицо, записал что-то и махнул. Я заметила, что записал.

Кальв стоял на холме над рекой: стены, крыши, башня с часами, две церкви — нет, не церкви, храмы, с круглыми куполами без крестов, — и запах, который я узнала за версту, потому что он во всех веках один: много людей, мало воды, сточные канавы. После моей серной долины это было почти приятно.

— Куда сначала? — спросила Фрида.

— В палату.

— Сначала на лесной двор. Пока деньги есть и пока вы их не отдали за бумагу.

Я посмотрела на неё. Она не повернула головы.

— Фрида. Вы всегда так с Конрадом?

— Нет, — сказала она. — С ним я молчала. Поэтому у него и был долг.

* * *

Лесной двор был за городом, у реки, — штабеля брёвен, запах смолы и опилок, собаки, мужики с крючьями. Хозяин, толстый, рыжий, с руками в занозах, выслушал, что мне нужно, — брус на опоры, доски на желоба и на ванны, тёс на навес, — и назвал цену, от которой у Юты за спиной вырвалось то слово, которое, по-моему, одинаково во всех мирах.

Торговалась Фрида. Я стояла рядом и училась молчать с таким лицом, как будто мне всё равно, куплю я или нет. Сошлись на пятнадцати кронах с доставкой.

— До ручья, — сказал хозяин. — До кордона, где полковник. За ручей мои не поедут, там, говорят, нечисто.

— Кто говорит?

Он пожал плечами.

— Все говорят. Я сам не был. Мне что — я лес продаю, не воду.

Я отсчитала пятнадцать крон. Пальцы были холодные, монеты — тяжёлые, и когда я отдала их и у меня в тряпице осталось четырнадцать, я поняла, что сделала то, что в прошлой жизни называла «подписала смету»: дальше только вперёд, назад деньги не вернут.

— Во вторник, — сказал хозяин. — Если дождь — в среду.

* * *

Палата сидела в ратуше, на втором этаже, за дверью с медной табличкой, которую я прочла по слогам, потому что буквы здесь были те же, что в выписке, а выписку я читала два дня.

Писарь был молодой, в нарукавниках, с чернильным пятном на щеке. Он выслушал меня — вдова лекаря, пустошь Серные Ключи, желаю открыть лечебное заведение, прошу патента — и достал лист, и обмакнул перо, и спросил:

— Какого рода заведение?

— Водолечебница, — сказала я. Это слово я приготовила заранее, по дороге, и оно было здешнее, Фрида проверила. — Для увечных и для тех, кто страдает суставами. На горячем ключе.

Писарь кивнул, не поднимая глаз, и написал: *баня на горячем ключе*.

Вот здесь я и сделала то, о чём потом вспоминала весь обратный путь. Я увидела слово «баня» и сказала — тем голосом, которым говорю, когда в карте написано не то:

— Не баня. Водолечебница. С отпуском ванн и грязевых процедур по расписанию и в градусах. Так и запишите.

Писарь поднял голову.

Он смотрел так, будто я заговорила на чужом языке и сама этого не заметила. «Отпуск процедур». «В градусах». Я услышала это его ушами через секунду после того, как сказала, — и было поздно. Он перевёл глаза на Фриду. Фрида смотрела в окно.

— Баня, — повторил писарь медленно и дописал: *с лечением*.

— Лекарь есть? С патентом?

— Я вдова лекаря.

— Это я записал. — Он не поднимал глаз. — Лекаря с патентом нет. Значит, прошение подаётся на «заведение для пользования водами», рассматривает санитарная комиссия палаты: уездный лекарь, храмовый лекарь и чиновник присутствия. Комиссия заседает дважды в год — весенняя была. Следующая — в осенний смотр. — Он посыпал лист песком. — Пошлина крона. До решения комиссии за плату пользоваться водами запрещено, это я тоже обязан сказать. Подпись.

Я подписала. Как могла. Он посмотрел на подпись, потом на меня, и я увидела, что он запомнил не прошение, а меня — ту, что говорит мужниными учёными словами и подписывается, как ребёнок.

— Простение зарегистрировано, — сказал он. — Копию получите у швейцара. Всего доброго, госпожа Ровенн.

На лестнице Фрида сказала:

— «В градусах».

— Я знаю.

— Я не упрекаю. Я запоминаю. — Она спускалась, держась за перила. — Конрад такими словами тоже говорил. В палате. Его потом десять лет звали «тот, что с длинными словами». Патент дали на одиннадцатый год.

* * *

Храм стоял на площади, напротив ратуши, и когда мы вышли, у его ступеней стояли люди. Немного — десяток. А на ступенях, выше всех, в светлом, стоял человек, и я поняла, кто это, раньше, чем Юта сзади сказала «вон он».

Брат Иероним.

Издали — гладкий. Это первое слово, которое пришло, и оно осталось: гладкое лицо без возраста, гладкие седые волосы до плеч, гладкие руки, сложенные перед собой, гладкий голос — я не слышала его, но видела, как люди внизу наклоняют головы, чтобы расслышать, и как он не повышает его ни на волос. Так говорят те, кого и без того слушают.

Женщина рядом с ним что-то сказала и показала через площадь — на нас. На меня.

Он посмотрел.

Это длилось секунду. Он посмотрел через площадь, через телеги и людей, нашёл меня и задержался, и в этом взгляде не было вражды — одно сожаление, какое бывает у врача, когда больной отказался от лечения и идёт мимо, и ты знаешь, чем это кончится, а он нет. Потом он наклонил голову — мне, через площадь, — и вернулся к тем, кто стоял внизу.

— Он вас знает, — сказала Юта.

— Ему написали.

— Кто?

— Сосед.

Юта хотела спросить ещё и не спросила. Фрида повернула лошадь.

Мы ехали через площадь, и на нас смотрели — не все, но достаточно, — и я сидела прямо — спину я держать умею, это из тех вещей, которые остаются при любом теле, — и думала о том, что утром нарочный увёз в столицу моё «нет», сегодня писарь записал меня в «не в себе», а человек на ступенях пожалел меня через площадь. Три дня. Доски. Через воду.

Налево от площади была улица с вывеской нотариуса — я прочла по слогам, пока проезжали. Там меня ждала бумага Лотара. Я не повернула головы.

* * *

Домой приехали в сумерках. Касс спал на холстине, Юта молчала — устала даже она. Лошадь шла сама, дорогу помнила.

У ручья Фрида натянула вожжи.

Мост был на месте.

Все три бревна. Новые скобы — я видела, как они блестят в последнем свете. Доски поверх брёвен, свежие, не наши, — наших ещё не было. Перила с одной стороны, из жерди.

На том берегу, у дороги, стоял Ивар. Он не подошёл. Стоял и смотрел не на нас, а на воду, как будто мост поставил кто-то другой, а он просто проходил мимо.

— Ивар, — сказала я с телеги.

— Госпожа.

— Это что?

— Мост. — Пауза. — Полковник велел. Сказал, чтоб вы через ручей не лазили. Срамота.

Я сидела и не знала, что на это ответить. Фрида рядом не шевелилась. Юта сзади проснулась окончательно и — впервые на моей памяти — молчала.

Ивар постоял ещё. Потом сказал — тише, не поднимая головы, глядя в воду:

— Плечо, госпожа. Левое. Вы тогда посмотрели.

— Посмотрела.

— Что — видно?

И я поняла, что это и есть вопрос, ради которого он стоял у моста.

— Видно, — сказала я. — Приходите. Вечером, когда он читает.

Ивар кивнул воде и ушёл к дому. Фрида тронула лошадь, и мы въехали на мост, и доски под нами были крепкие и не скрипели, — кто-то ставил их с утра, не торопясь, и этому кому-то велели сделать хорошо.

В тёмном окне флигеля никого не было видно. Я и не ждала.

Глава 7

Ивар пришёл на следующий вечер, в сумерках, и встал у навеса с шапкой в правой руке.

Левая висела. Он сказал, что полковник велел спросить, не нужна ли нам пила, а пила у нас была — Ансель с утра пилил ею колоду на желоб, и звук этот было слышно за ручьём, — и мы оба это знали, и оба сделали вид, что нет.

— Снимайте рубаху.

— Госпожа.

— Ивар. Плечо у вас под рубахой. Через сукно лечат храмовые, пятьдесят крон за раз, вы знаете, где их искать.

Он снял. Через голову, правой, помогая себе зубами за ворот. Я смотрела, как он это делает, а не на само плечо. Левую он не поднимал вовсе: вынул из рукава, как вынимают из рукава чужую руку, — придерживая.

— Что с ней случилось? Когда?

— Три года. На перевале. Упал с повозки, когда его везли.

— Что с рукой тогда делали?

Он посмотрел на дверь сторожки. Потом за ручей, на тёмное окно флигеля.

— Полковнику я докладывать не собираюсь, — сказала я. — Что делали?

— Коновал. В обозе. Сказал — вышла. Дёрнул.

Хорошо. То есть ничего хорошего, но понятно: вывих, вправленный тем, кто вправляет лошадям, и три года после. Я встала у него за спиной, положила ладонь на лопатку и велела поднять руку самому. Сколько сможет. Рука пошла до пояса и встала, и лопатка под ладонью двинулась мало. Боль? Слабость? Сам сустав? По ладони этого не разберёшь — надо сравнивать.

— Теперь я. Вы не помогаете.

Я повела руку сама. Медленно, в сторону. До пояса — свободно. Выше — туго, но пошла, и ещё на ладонь, и тут он вдохнул и перестал дышать.

— Дышите.

— Так точно.

— Не «так точно». Дышите.

Со мной рука шла дальше, чем он поднимал её сам. Разница была — и это, по крайней мере, значило, что сустав пускает больше, чем он берёт. Что мешает — боль, слабость, то, что три года не поднимал, — надо было проверять дальше, силу, чувствительность, форму плеча спереди; я сделала, что могла руками в сумерках: надавила под ключицей спереди, потом сбоку, под костью. На втором месте он дёрнул щекой.

Могло быть порвано. После коновала, который «дёрнул», — вполне. Здесь мне это было нечем увидеть, и я сказала себе честно: если за две-три недели не станет лучше, план придётся менять; если станет — это тоже ничего не докажет, но ему будет легче, а это и есть то, за чем он пришёл.

— Ночью болит?

— Когда повернусь.

— Пальцы немеют?

— Нет.

— Ложку держите?

Он поднял брови: вопрос был, с его точки зрения, глупый.

— Правой.

— А хотите чем?

Он помолчал.

— Сапоги, — сказал он. — Второй сапог. Ему. Я его одной рукой не натягиваю. Приходится вставать на колено, а он смотрит.

Вот и цель: второй сапог.

— Вода тёплая, не горячая, — та, что в средней луже. У выхода ключа есть камень, на нём сидят по пояс в воде. Садитесь на него, руку опустите вдоль тела — вода возьмёт до плеча. Десять минут, я засеку. Вылезать будете на правую, я подам руку. Потом попробуем ещё раз — и всё. На сегодня всё.

— А потом?

— Потом посмотрю, как вы её завтра носите. Если хуже — значит, я ошиблась, и будем иначе.

Он сидел на камне, по плечо в тёплой вонючей воде, прямой, как на смотре, и дышал ртом. Часы Конрада шли вперёд, и я считала по ним, а не про себя, потому что про себя у меня всегда выходит дольше.

С того берега смотрели. Окно было тёмное, и я никого не видела, но знала — как знаешь на обходе, что главврач стоит в дверях палаты у тебя за спиной.

— Ивар. Он знает, что вы здесь.

— Так точно.

— И?

— И читает про пчёл.

На десятой минуте я подала ему руку, он вылез на правую, и я обтёрла его левую и повела вверх ещё раз. Пошла на ладонь дальше, чем до воды, — после тепла так бывает, это ещё ничего не значит. Я спросила, что он чувствует. «Теплее». Он покосился на руку.

— Завтра в это же время. Рубаху снимаете сами. Если ночью станет хуже — не приходите, пришлите Кассу.

Он оделся. Левую вдел в рукав сам — медленно, но сам, — и у края навеса обернулся.

— Вы ему колено тоже так? Через «дышите»?

— Он не даёт.

— Не даст, — согласился Ивар. — Ни за что.

И пошёл к мосту — по мосту, по новым доскам, не глядя под ноги: он сам их клал и знал, где какая.

* * *

Днём мы строили.

Это слово — «строили» — у меня в голове звучало солиднее, чем выглядело. Выглядело так: старик с согнутыми руками, мальчишка, две бабы и я в единственном платье копали и таскали, и Ансель был единственным, кто знал, что именно. Марта с дочерью работали не за деньги, которых у меня на них не было, а за спину Мартинового мужа, которую я обещала посмотреть, когда будет вода, — и это был первый договор купальни, и заключён он был без бумаги.

Каменную трубу мы расчистили ещё в первый день — те четыре локтя, что уцелели под обвалом. Дальше её не было, и дальше Ансель помнил: от трубы шёл большой желоб, большой делился на малые, каждый малый — в свою ванну, и у каждого была доска-затвор, которую отец поднимал.

Большой желоб мы делали из колоды. Ансель пилил, Касс держал, Марта с дочерью выбирали сердцевину теслом — медленно, по стружке, потому что колода была сырая и сопротивлялась. Юта носила воду в кадки и говорила. Я делала то, что не умела, — то есть всё, — и училась на ходу, и к вечеру второго дня у меня на ладонях, чужих и непривычных к такому,

были мозоли, которые я осмотрела с профессиональным интересом: вот тут — пузырь, вот тут уже лопнул, вот сюда нельзя больше тесло.

Желоб был готов на третий день, к полудню. Шесть шагов колоды, выбранной внутри, уложенной на две опоры из камней, от конца каменной трубы до того места, откуда потом пойдут малые желоба — когда будут доски. Уклон я делала на глаз: склон здесь шёл вниз, и мне казалось, что дальний конец лежит ниже ближнего, — я присела, посмотрела вдоль колоды и осталась довольна.

Я пустила воду сама. Подняла доску-затвор, которую Ансель нашёл под илом и обтесал заново, и вода пошла — горячая, парящая, воняющая на всю долину — в каменную трубу, из трубы в колоду, по колоде...

И пошла назад.

Она дошла до середины колоды, замедлилась, поднялась до краёв — и полилась через борт у ближнего конца, у трубы, обратно на камни, туда, откуда пришла. Дальний конец остался сухим.

— Назад течёт, — сказал Касс.

Я видела, что назад. Я стояла над желобом и смотрела, как вода, которую я ждала три дня, уходит мне под ноги, и не понимала, пока Ансель не подошёл, не положил на дно колоды ладонь ковшиком с водой из ямы и не показал: капля побежала к трубе. Вверх по склону — так мне казалось. На самом деле вниз: дальний конец колоды лежал на второй опоре выше ближнего, на палец или на два, а склон вокруг шёл под гору так круто, что глаз это съедал. Я сидела на корточках, смотрела вдоль колоды и видела уклон, которого не было. Это знает любой, кто хоть раз клал что-нибудь на косогоре без уровня. Я не клала. Я заведовала отделением.

Ансель стоял рядом и молчал. Он не знал заранее — он тоже смотрел глазом, и глаз у него был старый, — но он знал, что делать, когда вода пошла не туда, а я нет.

— Надо переложить, — сказала я.

— Надо, — согласился он. — Отец говорил — вода сама покажет. Показала.

* * *

Доски привезли во вторник. Не к ручью.

Юта пришла из деревни в середине дня, когда мы разбирали опоры, — мокрая, потому что с утра шёл дождь, мелкий, холодный, из тех, что не кончаются до вечера, — и сказала с порога, что лес лежит у Гнилой развилки. Весь. Брус, доски, тёс. Свален в грязь на обочине. Возчики заезжали в деревню выпить и сказали, что дальше не повезут: в воскресенье в храме брат Иероним говорил с амвона, что кто вдове с ключей везёт или продаёт, тот причащается скверны, и что они не дураки за пятнадцать крон чужих терять благословение на свою свадьбу.

Воскресенье. Мы были в Кальве в субботу. Он успел за день.

— Три версты, — сказала Фрида. — До развилки. В гору обратно. Лошадь одна, телега одна, дождь.

— Сколько ходок?

Она прикинула.

— Шесть, если грузить плотно. Кобыла не вытянет шесть в гору, госпожа. Три — и ляжет.

Я посчитала. Три версты туда, три обратно, шесть ходок, одна старая лошадь, дождь, темнеет через четыре часа. Не сходилась никак. А лес лежал в грязи, и за ночь под дождём доски наберут воды и станут вдвое тяжелее, и если до утра их не вывезти — кто-нибудь с тракта приберёт их раньше нас.

— Запрягайте, — сказала я. — Сколько вытянет — столько вытянет.

Мы сделали одну ходку до сумерек. Грузили втроём — я, Юта, Касс — под дождём, из грязи, доска за доской, и Фрида на телеге укладывала, и на обратном пути лошадь шла в

гору так, что я шла рядом и не садилась, и Юта тоже, и мы все молчали. Выгрузили у ручья. Осталось больше половины. Темнело.

Я стояла у моста и смотрела на тот берег и считала доски — пятнадцать крон из моих тридцати шести, — которые до утра уедут с кем-нибудь по тракту и которые мне не вывезти одной лошадью.

Сзади, с той стороны, по мосту застучало.

Копыта. Не наша кобыла — тяжелее, ровнее. И колёса — другие, не телега, а повозка с рессорами, я услышала это раньше, чем увидела. Потом фонарь. Потом — в свете фонаря — лошадь с кордона, крупная, с провисшей спиной, и повозка, и на козлах, с вожжами в руках, в мокром плаще с поднятым воротником, — он.

Ивар шёл рядом, пешком, держа фонарь.

Я стояла и смотрела. Полковник остановил повозку у моста и смотрел на меня сверху, с козел, как с крыльца, — только теперь по лицу у него текла вода, и он её не вытирал.

— Госпожа Ровенн. Где ваш лес?

— У Гнилой развилки.

— Я знаю, где. Я спросил, где — на развилке. С какой стороны тракта.

— С левой. Если от нас.

Он кивнул. Перехватил вожжи.

— Повозка казённая, берёт втрое против вашей телеги. Лошадь казённая. Казённую лошадь без офицера я не отдам, таков устав, так что придётся терпеть меня на козлах. Ивар грузит. Мальчишка грузит. Вы — если хотите. Садитесь или идите рядом, мне всё равно, но решайте быстро: через час дорогу развезёт так, что и эта не пройдёт.

— Полковник...

— Госпожа Ровенн. — Он не повысил голоса. — Я сижу. Это единственное, что я делаю хорошо. Дайте мне делать это с пользой.

Я села.

* * *

Две ходки. Три версты туда, три обратно, под дождём, в темноте, с фонарём на крюке у козел, и казённая повозка брала за раз столько, сколько наша телега не взяла бы за три. Я грузила с Иваром и Кассом, Юта грузила, и каждая доска выходила из грязи с хлюпаньем и с руганью. Ивар грузил правой. Левую он берёт, как велено, и я видела, что бережёт, и ничего не говорила: сегодня плечо могло подождать.

На козлах было тесно. Я сидела рядом с ним, потому что сзади лежал лес, и на каждой колдобине нас прижимало друг к другу плечом, и от его плаща пахло мокрой шерстью и табаком, и плечо под плащом было горячее сквозь дождь. Я отодвигалась. На следующей колдобине прижимало снова. На третьей я перестала отодвигаться и разозлилась на себя за то, что заметила, что перестала, — и смотрела вперёд, на дорогу в свете фонаря, и считала колдобины, потому что считать было легче.

Он правил. Сидел на козлах, мокрый насквозь, с вожжами, и лошадь слушалась его, как не слушалась никого из нас: шла в гору ровно, без рывков, останавливалась там, где надо, и стояла, пока грузили, не переступая. Он не разговаривал. Один раз, на второй ходке, когда Касс поскользнулся и доска поехала, он сказал: «Отставить», — тихо, и Касс замер, и доска легла, куда надо. Больше ничего.

Я смотрела на него, когда он не видел. На то, как он сидит — прямо, не касаясь спинки, которой у козел и не было, — и как держит правую ногу, вытянутую вдоль козел, потому что согнуть её под нормальным углом он не мог. Нога была в сапоге. В том самом втором сапоге, который Ивар натягивал ему с колена. Под дождём, пять ходок, на козлах, на которых здоровый

человек через час начинает ёрзать, — он не ёрзал. Он пересчитывал что-то пальцем по колену. Я заметила это на первой ходке и поняла на второй, когда на развилке, пока грузили, он обеими руками взял свою правую ногу под коленом, приподнял и переложил вдоль козел иначе — как перекладывают чужую тяжёлую вещь, — и снова стал пересчитывать: он так терпит.

Последнюю доску выгрузили за полночь. Ивар и Касс сложили её на штабель у ручья, и штабель стоял мокрый, тёмный, огромный — пятнадцать крон, весь мой лес, у моего ручья, на моей земле.

Полковник не слез с козел. Он повернул голову к купальне, туда, где за стенами, под скалой, при свете фонаря, который Ивар поставил на камень, виднелась моя колода на двух опорах. Разобранных наполовину. С водой, которая всё ещё стояла в ней, потому что я не успела — не было времени — спустить.

Он смотрел на неё долго. Я ждала.

— Уклон мал, — сказал он наконец тем же голосом, каким говорил о казённой дороге. — Четверть вершка на сажень. Не меньше. Иначе встанет.

Потом сказал Ивару:

— Домой.

Повозка развернулась. Фонарь ушёл за мост, качаясь, и стало темно, и дождь шёл, и я стояла у штабеля и трогала мокрые доски рукой, как трогают то, что уже твоё и больше не уедет.

Четверть вершка на сажень. Я не знала, сколько это. Но Ансель знал: он стоял рядом и кивал в темноте.

Глава 8

Четверть вершка на сажень оказалась тем, что Ансель называл «на палец на два шага», и к полудню желоб лежал заново.

Мы подняли верхнюю опору на три камня и опустили нижнюю на один, и Ансель проверял уклон способом своего отца: ставил на дно колоды каплю воды из ладони и смотрел, куда побежит. Капля бежала. Я стояла рядом и злилась на то, что человек, который ни разу не подошёл к моему желобу ближе чем на пятьдесят шагов, посмотрел на него ночью при фонаре с козел и назвал число, а я, которая три дня ходила вокруг, не назвала ничего.

Потом я подняла затвор.

Вода пошла в каменную трубу, из трубы в колоду, по колоде вниз, парящая, воняющая, — и не встала. Дошла до конца желоба, упала с него на камни, туда, где кончалась старая кладка и где нам предстояло класть малые желоба, когда будут доски, — а доски были, они лежали мокрым штабелем у ручья, — и растеклась по мраморному полу купальни, по илу, который мы ещё не вычистили, и пошла к ближней ванне сама, потому что пол тоже лежал с уклоном, и кто-то и это посчитал двести лет назад.

Касс закричал. Юта сказала то слово, которое одинаково во всех мирах, только на этот раз весело. Марта с дочерью стояли у стены и смотрели, как вода подходит к ванне, переливается через бортик и начинает её наполнять — мутную, с илом, не для людей, но горячую и нашу.

Я опустила затвор. Вода остановилась.

— Теперь чистить, — сказала я. — Ванну, пол под ней, слив. Потом снова пустим, и тогда будет можно.

— Можно что? — спросил Касс.

— Лежать.

Он посмотрел на мутную воду в белом камне с таким лицом, что я поняла: в этой долине в неё ляжет кто-то один, и не скоро, и этим кем-то буду я.

* * *

Ивар пришёл в сумерках, третий вечер подряд, и снял рубаху через голову, не помогая себе зубами.

Я это увидела и ничего не сказала, потому что говорить пациенту «смотрите, у вас получилось» на третий день — значит сглазить и его, и себя. Он сам заметил. Встал с рубахой в правой руке, посмотрел на левую, которую только что вынул из рукава, и сказал:

— Утром тоже так. Он видел.

— Полковник?

— Я дрова колел. Жарко. Снял. — Он поправил рукав. — Он смотрел.

— И?

— И ничего. Читал дальше.

Я повела его руку в сторону — сначала он сам, потом я. Сам — чуть выше, чем позавчера, на палец. Со мной — туда же, дальше капсула не пускала, и я на неё не давила. Три дня — это три дня. Сам поднимает выше — значит, что-то в плече работает лучше, чем три дня назад; что именно и не порвано ли при этом сухожилие, это не говорило, и я оставила эту мысль себе, не произнося.

— Сапог, — сказала я. — Пробовали?

— Нет.

— Больной рукой пока не тяните. Дрова вы колете правой, я видела. Сапог — когда проверим, что плечо носит нагрузку без ухудшения.

Он кивнул, сел на камень и опустил руку в воду средней лужи, тёплой, как тело, — и сидел, прямой, глядя на тот берег, где в тёмном окне никого не было видно. А я смотрела вверх, на купальню, где стояла первая ванна — мы вычистили её к вечеру до белого камня, я снова подняла затвор, дала ей набраться и опустила, и теперь она стояла полная, парящая, и остывала, — и ждала, когда все уйдут.

* * *

Они ушли. Юта с Кассом — вниз, в деревню, Марта с дочерью — следом, Ивар — через мост, Фрида — спать, сказав мне с порога, что я могу хоть всю ночь сидеть над своей лужей, но чтобы утром её не будила. Ансель уснул у печи. Я взяла часы Конрада, свечу в глиняной плошке, холст и пошла наверх, к ванне.

Я скажу сейчас, как это было, потому что потом сама же написала правило и повесила его на столб, и честнее признать, с чего оно началось.

Я одиннадцать дней жила в чужом теле. Я мыла его из кадки холодной водой, одевала в чужое чёрное, кормила тем, что давала Фрида, и ни разу за эти две недели оно не было моим. Оно было инструментом, который мне выдали без инструкции, — длинным, костлявым, с руками, которые не попадали в пуговицы. Я двадцать лет говорила пациентам: «тело надо вернуть себе через ощущение», и верила в это, и ни разу не проверяла на себе, потому что своё тело у меня и так было.

Вода в ванне парила. За три часа под открытым небом она остыла до того, что локоть назвал «горячо, терпимо, на грани», — больше, чем я назначила бы любому. Себе я назначила. Разделась — платье, то, что под платьем, рубаха; свеча стояла на бортике, и света от неё хватало на пар и не хватало на меня целиком, за что я была ей благодарна, — и вошла.

Вошла по щиколотку, по колено, села на каменную скамью, легла — и вода взяла по шее.

Я знала, что по шее нельзя. Я знала это, как таблицу умножения: сероводородная ванна — по грудь, сердце над водой, это первое, чему учат в санатории, и я сама это говорила каждой новой медсестре. Но вода была горячая и держала, и одиннадцать дней холода, грязи, чужих костей и чужого имени уходили из меня в эту воду, как уходит боль под теплом, и я легла по шее и закрыла глаза, и часы Конрада лежали на бортике, и я не смотрела на них.

Было хорошо. Было так хорошо, что я поняла, зачем люди платили за это при старой династии, и зачем Конрад купил пустошь за три кроны, и зачем Ансель сорок лет сидел здесь сторожем, когда сторожить было нечего.

Потом стало жарко. Я подумала: пора. И не встала. Ещё минуту. Ещё.

Потом сердце пошло быстро — я это отметила, как отмечают у пациента, — и перестала отмечать, потому что стало трудно дышать — от воздуха над водой: пар стоял густой, и в нём было то, чем вода пахла, только больше. Я открыла глаза. Свеча двоилась. Перегрелась? Давление? Пар? После удара головой две недели назад? Я не знала, и знать было некогда — надо было вон, — и попробовала встать, и не встала, потому что руки, которыми я упёрлась в дно, оказались не моими и согнулись.

Это длилось, наверное, секунд десять. Мне показалось — дольше. Я помню, что перевалилась через бортик, как переваливают мешок, и упала на мраморный пол — мокрый, холодный, вычищенный днём до камня, — и поползла, потому что знала одно: от пара, что стоит над ванной, надо подальше, туда, где ветер, — и выползла из стен купальни на траву, на склон, и лежала там лицом в мокрую траву, и сердце стучало в землю, и постепенно стало слышно, что оно замедляется.

Я лежала долго. Голая, мокрая, на склоне у купальни старой династии, с гвоздём в затылке, который снова проснулся, и считала пульс по часам, которые вынесла в кулаке, сама не помня как. Сто двадцать. Сто. Девяносто.

И вот тогда — когда я лежала щекой на мокрой траве и считала собственный пульс — тело стало моим. Кружилась голова у меня. Руки, которые не удержали на бортике, были мои руки, и это их я буду теперь укреплять, потому что с такими руками я никого ни из какой ванны не вытащу. Впервые за одиннадцать дней я думала о нём как о своём.

Потом встала. На колени, потом на ноги, держась за стену. Вернулась за холстом, не глядя на ванну, завернулась и села на камень снаружи, на ветру, и сидела, пока пульс не стал восьмидесяти и пока свеча не перестала двоиться, — а потом пошла вниз, к сторожке, держась за кусты, потому что одной мне сегодня больше ничего нельзя было делать.

Умница, Тамара Ильинична. Одна, по шею, дольше, чем смогла бы сказать, потому что на часы не смотрела, ночью, в развалинах, в пятидесяти шагах от Фриды, которая спала, и в двухстах — от Ивара, который тоже спал, и ни один из них не знал, где я. Если бы это сделал кто-то из моих, я бы уволила. Себя уволить я не могла, поэтому сделала то, что делала всегда после чужих ошибок, — написала правило.

* * *

Фрида не спала. Она сидела у печи, когда я вошла — мокрая, в холсте, с лицом, которое, видимо, было не лучшего цвета, — и посмотрела на меня, как на мокрое платье в первый день.

— Ванна, — сказала она. Не спросила.

— Ванна.

— Одна. По шею.

— Фрида, я знаю.

— Конрад тоже на себе пробовал. Всё. Говорил: как я назначу человеку то, чего не знаю? — Она подвинула мне кружку с кипятком. — Один раз я его из лохани вынимала. С настойкой наперстянки. Он потом три дня лежал и говорил, что теперь точно знает дозу.

— И знал?

— Считал, что знал. Но больше я ему одному пробовать не давала. Сиделась рядом с часами. — Она помолчала. — Так что, госпожа, если вам опять понадобится «узнать» — скажите. Я посижу.

Я написала правило в ту же ночь, у печи, на обороте старого письма Лотара, которых у Фриды нашёлся запас, печатными буквами, потому что другие не получались:

В воду — только при ком-то. Никогда одной.

По грудь. Сердце над водой.

По часам. Не дольше, чем сказано.

После — лежать. Не вставать резко.

Если в глазах темно — зови. Выходи с помощью, не одна.

Пар над ванной не нюхать. Ванна — под открытым небом, и так останется.

Фрида прочла через моё плечо и сказала, что утром прийдёт к столбу навеса у двери, чтобы видели все, кто ходит, — и чтобы я видела.

— «Никогда одной», — сказала она.

— Никогда.

Я сидела у печи с кружкой и думала, что Конрад, которого я никогда не видела и чьи часы носила в кармане, нравится мне всё больше, и что это, по-видимому, от Фриды, потому что от Агаты я о нём не узнала ничего, кроме четырёх слов.

* * *

Постучали часа через два.

Я не спала — лежала на лавке с гудящим затылком, слушала, как шумит ручей, — и стук был такой, что я села раньше, чем поняла, что это стук. Фрида встала от двери. Ансель не проснулся.

Я открыла.

Ивар стоял на пороге без шапки. Это было первое, что я увидела: голова без шапки, мокрая, потому что опять моросило, и лицо, на котором впервые за эти дни что-то было написано, и написано плохо.

— Госпожа.

— Что?

— Его скрутило. — Он сказал это ровно, и ровность эта стоила ему заметных усилий. — Спину. И ногу. Третий час. Он не лежит, не сидит, он... Лекарь в Кальве, четыре часа. Я не знаю, что делать.

Я уже надевала башмаки.

— Он велел вас позвать?

Ивар помолчал, и этого хватило, чтобы я поняла ответ.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.